

*like*  
**book**

ANTOINE

de SAINT-

EXUPERY

CITADELLE



АНТУАН  
ДЕ СЕНТ-  
ЭКЗЮПЕРИ

Цитадель

МОСКВА

*like*  
**book**

2018

УДК 821.133.1-31  
ББК 84(4Фра)-44  
С31

Antoine de Saint-Exupéry  
CITADELLE

© Editions Gallimard, Paris, 2000

Перевод с французского *Марианны Кожевниковой*

Разработка серии и оформление обложки:  
*Александр Кудрявцев,*  
студия графического дизайна «FOLD & SPINE»

**Сент-Экзюпери, Антуан де.**

С31 Цитадель / Антуан де Сент-Экзюпери ; [пер. с фр. М. Кожевниковой]. — Москва : Издательство «Э», 2018. — 576 с. — (Правильные книги).

ISBN 978-5-04-091730-3

«Цитадель» — последнее, незаконченное произведение Антуана де Сент-Экзюпери. Это книга, которую автор «Маленького принца» считал своей любимой и в которую вложил свои самые глубокие мысли.

«Цитадель» — книга-лабиринт: странствуя по ней, открываешь новые пространства мысли и чувства. «Цитадель» — книга-медитация: дочитав ее, становишься чуточку иным.

УДК 821.133.1-31  
ББК 84(4Фра)-44

© Кожевникова М., перевод  
на русский язык, 2018  
© Издание на русском  
языке, оформление.

ISBN 978-5-04-091730-3

ООО «Издательство «Э», 2018

ЦИТАДЕЛЬ

# I

...Ибо слишком часто я видел жалость, которая заблуждается, но нас поставили над людьми. Мы не вправе тратить себя на то, чем можно пренебречь. Мы должны смотреть в глубь человеческого сердца. Я отказываю в сочувствии ранам, выставленным напоказ, — они трогают сердца женщин, — отказываю умирающим и мертвым. И знаю почему.

Были времена в моей юности, когда я, видя гнойные язвы нищих, жалел их, нанимал им целителей, покупал притирания и мази. Караваны везли ко мне золотой бальзам с дальних островов.

Но потом я увидел, что нищие расковыривают свои болячки, смачивают их навозной жижой, — так садовник унавоживает землю, выпрашивая у нее багряный цветок, — и понял: смрад и зловоние — сокровище попрошаек. Нищие гордились друг перед другом своими язвами, бахвалились выручкой, и тот, кто получал больше других, возвышался в собственных глазах, чувствуя себя верховным жрецом при самой прекрасной из кумирен. Только из тщеславия приходили нищие к моему целителю, предвкушая, как поразится он обилию их

зловонных язв. Защищая свое место под солнцем, они трясли изъязвленными обрубками, попечение о себе почитали почестями, примочки — поклонением. Но выздоровев, ощущали себя ненужными, не питая собой болезнь, — бесполезными, и во что бы то ни стало стремились вернуть себе свои язвы. И вновь сочась гноем, самодовольные и никчемные, выстраивались они с плашками вдоль караванных дорог, обирая путников во имя своего зловонного бога.

Во времена моей юности я сочувствовал и умирающим. Мне казалось, осужденный мною на смерть в пустыне угасает, изнемогая от безнадежного одиночества. Я не знал еще, что в смертный час нет одиноких. Не знал и о снисходительности умирающих. Хотя видел, как себялюбец или скупец, прежде громко бранившийся из-за каждого гроша, собирает в свой последний час домочадцев и с безразличием справедливости оделяет их, как детей побрякушками, нажитым добром. Видел, как трус, который при малейшей опасности истошно звал на помощь, получив смертельную рану, молчал, заботясь не о себе — о товарищах. Мы восхищаемся: «Какая самоотверженность!» Но я заметил в ней и затаенное пренебрежение. И догадался, почему иссыхающий от жажды отдал последний глоток соседу, а умирающий с голода отказался от корки хлеба. Они успели отстраниться от телесного и с королевским безразличием отодвинули от себя кость, в которую жадно вгрызутся другие.

Я видел женщин, они жалели погибших на поле боя. Жалели, потому что мы слишком много вдали. Ты же знаешь, как возвращаются с войны уцелевшие, сколько они занимают места, как громко похваляются подвигами, какой ужасной изображают смерть. Еще бы! Они тоже могли погибнуть. Но вернулись и гибелью товарищей устрашают теперь всех вокруг. В юности и я любил окружать себя ореолом сабельных ударов, от которых

погибли мои друзья. Я приходил с войны, потрясая безвыходным отчаянием тех, кого разлучили с жизнью. Но правду о себе смерть открывает только своим избранникам; рот их полон крови, они зажимают распоротый живот и знают: умереть не страшно. Собственное тело для них — инструмент, он пришел в негодность, сломался, стал бесполезным, и, значит, настало время его отбросить. Испорченный, ни на что не годный инструмент. Когда телу хочется пить, умирающий видит: тело томится жаждой, и рад избавиться от тела. Еда, одежда, удовольствия не нужны тому, для кого и тело незначительная частица обширного имени, вроде осла на привязи во дворе. А потом наступает агония: прилив, отлив, — волны памяти бередают сознание, омывают пережитым, вздымаются, опадают, приносят и уносят камешки воспоминаний, звучащие раковины голосов. Дотянулись, раскачали сердце, и, словно нити водорослей, ожили сердечные привязанности. Но равноденствие уже приготовило последний отлив, пустеет сердце, и волна пережитого отходит Господу.

Все, кто живы, — я знаю, — боятся умереть. Они заранее напуганы предстоящей встречей. Но поверьте, я ни разу не видел, чтобы умереть боялся умирающий. Так за что же мне жалеть его? О чем плакать у его изголовья?

Мне известно и преимущество мертвых.

Легка была кончина юной пленницы. Мне было шестнадцать, и ее смерть стала для меня откровением. Когда ее принесли, она уже умирала, кашляла в платок и, как загнанная газель, прерывисто, часто дышала. Но не смерть занимала ее, ей хотелось одного — улыбнуться. Улыбка веяла возле ее губ, как ветерок над водой, мановение мечты, белоснежная лебедь. День ото дня улыбка становилась все явственней, все драгоценней, и, когда наконец обозначилась, лебедь улетела в небо, оставив след, полумесяц губ.



А мой отец? Смерть завершила его и уподобила изваянию из гранита. Убийца поседел. Его раздавило величие, которым исполнилась земная брэнная оболочка, прободенная его кинжалом. Не жертва — царственный саркофаг каменел перед ним, и безмолвие, причиной которого стал он сам, поймало его в ловушку, обессилило и сковало. На заре в царской опочивальне слуги нашли убийцу: он стоял на коленях перед мертвым царем.

Цареубийца переместил моего отца в вечность, оборвал дыхание, и на целых три дня затаили дыхание и мы. Даже после того, как мы похоронили его, плечи у нас не расправились и нам не захотелось говорить. Царя не было с нами, он нами не правил, но мы по-прежнему нуждались в нем и, опуская гроб на скрипучих веревках в землю, знали, что заботливо укрываем накопленное, а не хороним покойника. Тяжесть его была тяжестью краеугольного камня храма. Мы не погребали, мы укрепляли землей опору, которой он был и остался для нас. От отца я узнал, что такое смерть. Он рано заставил меня взглянуть ей в лицо, и сам перед ней не опускал глаз. Кровь орла текла в его жилах.

Случилось это в проклятый год, который назвали потом годом «солнечных пиршеств». Пируя, солнце раздвигало пустыню. На слепящем глаза раскаленном песке седела верблюжья трава, чернела колючка, белели скелеты, шуршали прозрачные шкурки ящериц. Солнце, к которому прежде тянулись слабые стебли цветов, губило свои творенья и, как ребенок сломанными игрушками, любовалось раскиданными повсюду останками.

Дотянулось оно и до подземных вод, выпило редкие колодцы, высосало желтизну песков, и за мертвенный серебряный блеск мы прозвали эти пески «зеркалом». Ибо и зеркала бесплодны, а мелькающие в них отра-

жения бестелесны и мимолетны. Ибо и зеркала иногда больно слепят глаза, будто солончаки.

Сбившись с тропы, караваны попадали в плен зеркала. Зеркало никогда не выпускало своей добычи, но откуда им было знать об этом? Вокруг ничего не менялось, только жизнь превращалась в призрак, в тень, отброшенную беспощадным солнцем. Караван тонул в белом мертвенном блеске, но верил, что движется; переселялся в вечность, но считал, что живет. Погонщики погоняли верблюдов, но разве сладить им с бесконечностью? Они торопились к колодцу, которого нет, и радовались вечерней прохладе. Они не знали, что прохлада — только отсрочка, которая ничем не поможет. А они, простодушные дети, верно, жаловались, что долго ждать ночи... Нет, ночи реяли над ними, как быстрые взмахи ресниц. Они гортанно негодовали на мелкие трогательные несправедливости, не ведая, что последняя справедливость уже воздана им.

Тебе кажется, караван идет? Вернись посмотреть на него через двадцать столетий!..

Отец посадил меня к себе в седло. Он хотел показать мне смерть. И я увидел, что осталось от тех, кого выпило зеркало: время рассеяло призраки, от них остался — песок.

— Здесь, — сказал мне отец, — был когда-то колодец.

Так глубок был этот колодец, что вмещал в себя только одну звезду. Но грязь закаменела в колодце, и звезда в нем погасла. Смерть звезды на пути каравана губит его вернее, чем вражеская засада.

К узкому жерлу, как к пуповине, тесно прильнули верблюды и люди, тщетно надеясь на животворную влагу земного чрева. Нашлись смельчаки и добрались до дна колодезной бездны, но что толку царапать заскорузлую корку? Бабочка на булавке блекнет, осыпав

шелковистое золото пыльцы, выцвел и караван, пригвожденный к земле пустотою колодца: истлела упряжь, развалилась кладь, алмазы рассыпались речной галькой, бульжниками — золотые слитки, и все это припорошил песок.

Я смотрел, отец говорил:

— Ты видел свадебный зал, когда ушли молодые и гости. Что, кроме беспорядка, открыл нам бледный утренний свет? Черепки разбитых кувшинов, сдвинутые с места столы, зола в очаге и пепел говорят, что люди здесь ели, пили и суетились. Но, глядя на послепраздничный беспорядок, что узнаешь ты о любви?

Подержав в руках и перелистав книгу Пророка, — продолжал отец, — посмотрев на буквицы и золото миниатюр, неграмотный миновал главное. Суть книги не в тщете зримого — в Господней мудрости. И не воск, который оставит следы, главное в свече — сияние света.

Но меня устрасил пиршественный стол Господа Бога с остатками Его жертвенной трапезы. Отец сказал мне:

— Прах — это только прах, не ищи в нем сути. Не медли над мертвецами. Повозки навек увязли в грязи, потому что их оставил вожатый.

— Но где она, эта суть? — закричал я отцу.

И отец ответил:

— Ты поймешь суть каравана, увидев его в пути. Забудь тщету слов и смотри: на пути каравана пропасть, он обходит ее, скала — он огибает ее. Если песок слишком мелок, находит песок плотнее, но всегда караван идет туда, куда идет. Верблюды завязли в солончаке, погонщики суетятся, вызволяют их, отыскивают почву понадежней, и снова караван идет туда, куда шел. Пал верблюд, караван остановился, погонщик связал узлом лопнувшую веревку, перевязал кладь, нагрузил друго-

го верблюда, и опять караван идет, не изменяя своему пути. Случается, умирает вожатый. Погонщики собираются вокруг него. Выкапывают в песке могилу. Спорят. И, выбрав на его место другого, вновь следуют за своей звездой. Своему пути подчиняется караван, направление — вот для него опорный камень на невидимом склоне.

Городские судьи вынесли приговор молодой преступнице: пусть солнце бичует нежную оболочку ее плоти, и преступницу привязали к столбу в пустыне.

— Сейчас ты поймешь, что для человека главное, — сказал мне отец.

И я опять у него в седле.

Мы ехали, а солнце, совершая дневной путь, казнило виновную, иссушая кровь, слюну, пот молодого тела. Выпило оно и влажное сияние глаз. Опускалась ночь с мимолетным своим милосердием, когда мы с отцом подъехали к порогу запретной равнины. Там, на темной скале, белела нагота юного тела, словно гибкий стебель в разлуке с питающей влагой вод, так весомо молчащих в земных глубинах. Переплетя руки, — точь-в-точь лоза, уже потрескивающая в пламени, — виновная взывала к милосердию Господа.

— Послушай ее, она говорит о главном, — сказал отец.

Но я был мал и потому малодушен.

— Как она мучается! — сказал я. — Как ей, наверное, страшно...

— Мучается и страшится стадо, укрытое в хлеве, — ответил отец. — Она превозмогла эти две болезни и теперь постигает истину.

Я вслушался в ее плач.

Затерянная в бескрайней ночи, она молила о свете лампы, о стенах дома вокруг нее, о плотно запертой две-

ри. Одна посреди безликой Вселенной, звала ребенка, которого целовала перед сном и который был для нее средоточием этой Вселенной. Во власти любого прохожего здесь, на пустынной равнине, славил знакомые, успокоительные шаги мужа, он вернулся к вечеру домой и поднимается по ступеням. Праздная, затерянная в беспредельности, молила вернуть ей будничные тяготы, без которых наступает несуществование: шерстяную кудель для пряжи, грязную миску, чтобы ее вымыть, ребенка, чтобы уложить его спать, ее собственного ребенка, а не чужого. Она взывала к спасительной надежности дома. Она молилась, и ее молитва сливалась с вечерней молитвой всей деревни.

Голова осужденной поникла, и отец посадил меня к себе в седло. Мы помчались.

— Вечером в шатрах ты услышишь ропот и возмущение моей жестокостью, — сказал он мне. — Но я вобью им обратно в глотки их жалкое возмущение: я кую человека.

Я знал, мой отец добр.

И вот что он говорил:

— Я хочу, чтобы они любили говорливые родники. Ровную зелень ячменя, укрывшую растрескавшееся от зноя поле. Хочу, чтобы славил сменяющиеся времена года. И созревали сами, подобно плодам, благодаря тишине и неторопливости. Пусть они долго носят траур и помнят своих усопших: медленно перетекает наследие одного поколения к другому, и я не хочу, чтобы мед расточился в пути. Я хочу, чтобы каждый ощутил себя ветвью большого дерева — щедрой оливы. Ветвью, которая ждет. Тогда каждому станет понятно, что колеблет его мощное дыхание Господа, словно ветер, испытующий древо на прочность. Господь ведет их вперед и поворачивает вспять: из тьмы к рассвету и от рассвета опять в потемки, к лету от зимы и от зимы к лету, от нивы

к зерну в житнице, от юности к старости, а от старости вновь к младенцам.

Исследуя последовательность, изучая отличия, что узнаешь ты о человеке? О дереве? Семечко, росток, гибкий ствол, твердая древесина — это ли дерево? Чтобы понять, не члени. Сила, мало-помалу сливающаяся с небом, вот что такое дерево. Таков и ты, дитя мое, человек. Бог рождает тебя, растит, полнит то желаниями, то сожалениями, то радостью, то горечью, то гневом, то готовностью простить, а потом возвращает в Свое лоно. Но ты не вот этот школьник, и не этот супруг, не вот это дитя, и не этот старец. Осуществление — вот что такое ты. И если в колебаниях и переменах ты ощутишь себя ветвью, неотторжимой от оливы, то и у перемен окажется вкус вечности. Все вокруг тебя обретает незыблемость. Вечен говорливый родник, утолявший жажду праотцев, вечно сияние глаз улыбнувшейся тебе возлюбленной, вечна и ночная свежесть. Время покажется тебе не продавцом песка, пускающим все прахом, — жнецом, увязывающим тугой сноп.

## II

С самой высокой башни крепости вижу: не нуждаются в жалости страждущие, успокоившиеся в лоне Господа и носящие по ним траур. Усопший, о котором помнят, живее и могущественнее живущего. Вижу смятение живых и сострадаю им.

Их я хочу исцелить от тоски и безнадежности.

Сострадаю тому, кто открыл глаза в праотеческой тьме и поверил, что кровом ему Божьи звезды, и догадался вдруг, что он в пути.

Я запрещаю расспрашивать его, ибо знаю: нет ответа, который истощил бы любопытство. Вопрошающий отверзает бездну.

*# Их я хочу  
исцелить  
от тоски и без-  
надежности.*

---

Глубины сердца ведомы мне, и я знаю: избавив вора от нищеты, я не избавлю его от желания воровать, и осуждаю беспокойство, толкающее вора на преступление. Он заблуждается, думая, что зарится на чужое золото. Золото сияет, словно звезда. Любовь, пусть даже не ведающая, что она — любовь, всегда тянется к свету, но не в силах человеческих присвоить себе свет. Сияние завораживает вора, и он совершает кражу за кражей, подобно безумцу, что ведро за ведром вычерпывает черную воду пруда, чтобы схватить луну. Вор крадет и в мимолетное пламя оргий швыряет прах уворованного. И снова стоит в темноте за углом, бледный, словно перед свиданием, неподвижный из страха спугнуть, надеясь, что так однажды он отыщет то, что утолит его жажду.

Отпусти я его на свободу, он снова будет служить своему божеству, и завтра же моя стража, если я пошлю ее подстригать деревья, схватит его в чужом саду: с колотящимся сердцем он ждал улыбки фортуны.

Но его первого я укрою своей любовью, потому что усердия у него больше, чем у благоразумного в его лавке. Я строю город. Мою крепость я решил заложить здесь. Я хочу остановить идущий караван. Он был семечком в русле ветра. Ветер расточает семена кедра как аромат. Но я встаю на пути ветра. Я укрываю семя землей, чтобы во славу Божию поднялись и оделись смолистой хвоей кедры.

Любви нужно найти себя. Я спасу того, кто полюбит существующее, потому что такую любовь возможно насытить.

Только поэтому я затворяю женщину в доме мужа и велю бросить камень в неверную. Мне ли не знать томящей ее жажды? Словно в открытой книге, читаю я в сердце той, что в вечерний час, сулящий чудеса,